Н. Д. КОЧЕТКОВА

ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КЛАССИЦИЗМА

Говоря об этапах русского просветительства, П. Н. Берков выделяет «период петровского „просвещенного абсолютизма“». «Характернейшей чертой этого периода, — писал исследователь, — было стремление создать сильное государство, способное не только отстоять свою территориально-политическую независимость, но и играть соответствующую его военной и экономической мощи роль в европейской и азиатской — по существу, тогдашней мировой — политике. ...Секуляризация быта, культуры, отказ от церковной авторитарности мышления — все это и было основой петровских реформ».[1]

Названные черты проявились и в деятельности Феофана Поокоповича, наиболее талантливого и яркого писателя начала XVIII в. То обстоятельство, что Феофан сам был представителем церкви, имеет принципиальное значение: процесс преодоления церковного авторитета начался не извне, а изнутри, и потому оказался особенно эффективным.

Доминиканский монах Бернард Рибера, один из поотивников Феофана, характеризовал его следующим образом: «В храме он важен, в алтаре внушает к себе почтение, в проповеди красноречив, в беседе о божественных и мирских предметах учен и изящен; он одинаково хорошо владеет греческим, латинским и славянским языком; в домашней жизни он великолепен; ко мне лично всегда относился любезно. Если его следует порицать за что-либо, так это — за его религиозные убеждения, если он их вообще имеет. Его библиотека, открытая для ученых, значительно превосходит императорскую и библиотеку Троицкого монастыря;

[1] П. Н. Берков. Основные вопросы изучения русского просветительства. — В кн.: Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. М.—Л., 1961, стр. 11—12.

по своему богатству она не имеет себе равных в России, стране, бедной книгами».[2]

Имеет ли вообще Феофан религиозные убеждения — это сомнение, высказанное католиком Риберой, носило, разумеется, полемический характер. Однако и объективные основания для сомнений подобного рода были: достаточно вспомнить о поступлении православного монаха в римскую иезуитскую коллегию, а затем о его возвращении в Россию и разрыве с католичеством и, наконец, его связях с лютеранами.

Пребывание в Риме, как обнаруживает Э. Винтер,[3] оказало решающее влияние на формирование взглядов и интересов Феофана. Фанатизм иезуитов, с которым пришлось ему столкнуться, сыграл роль своеобразного противоядия против религиозного фанатизма вообще, в какой бы форме он ни проявлялся.

Другой крупнейший проповедник того времени, Стефан Яворский, в Польше тоже обучался в иезуитских коллегиях, но результат, как известно, был противоположный. Стефан под влиянием католицизма проникся предубеждением к протестантской религии и стал одним из ревностнейших защитников православной церкви со всеми ее учреждениями.[4] Местоблюститель патриаршего престола, автор «Камня веры», Стефан не мог сочувствовать мероприятиям Петра, направленным на ограничение церковной власти.

Скептическое отношение к официальной церкви развивалось и укреплялось у Феофана благодаря его научным занятиям (математика, философия, история) и приобщению к передовой европейской мысли того времени (знакомство с трудами Р. Декарта, Ф. Бэкона и др.).[5] Страх перед наукой и боязнь «лукавого мудрствования», характерные для многих представителей русского духовенства, неизменно вызывали у Прокоповича решительное осуждение и протест. Характерен в этом отношении «Разговор гражданина з селянином да певцем или дячком церковным», написанный Прокоповичем еще в Киеве, как предполагает П. Морозов. Гражданин, высказывающий идеи самого автора, замечает, что есть два вида невежества: «Едно простое и незлоб-

---

[2] См.: П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель. Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразования. СПб., 1880, стр. 393.

[3] См.: Э. Винтер. Феофан Прокопович и начало русского Просвещения. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. XVIII век. Сб. 7. М.—Л., 1966, стр. 43—46; E. Winter. Zum geistigen Profil Feofan Prokopovičs. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Bd. II. Berlin, 1968, S. 24—28.

[4] См.: Ю. Ф. Самарин. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. — В кн.: Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т. V. М., 1880.

[5] Л. А. Петров. Философские взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Труды Иркутского гос. унив., Серия философская, 1957, т. XX, вып. 1; J. Tetzner. Theophan Procopovič und die russische Frühaufklärung. — Zeitschrift für Slawistik, 1958, Bd. III, H. 2—4, S. 351—368.

ное или неупрямое, другое — нарочное, злобное и упорное». Далее подробно говорится именно об этом самом вредном и опасном виде невежества. Иронически характеризуется позиция таких невежд: «Думают беднии, что в преступлении закона божия, — о котором оны слышат и ведают, но прытворяют себе быть неведущих — не будут судими и казними от бога, сеже аки бы одинаго ради невежества своего, которое оны мечтают себе быть в блаженство; тем же и не обинуяся, блаженними себе именуют; протчиих, писания ведущих, не ублажают, но паче охуждают, глаголя торжественно, яко сии воздадят ответ пред судом божиим о всяком деле и слове, а нас-де бог простит, паче же и оправдит нас, яко простых людей».[6] Представление о том, что знание — грех, незнание же в любом случае — оправдание перед лицом бога, служило удобным руководством для многих церковных деятелей. С этим узаконенным невежеством, невежеством, возведенным в принцип, и борется Прокопович. Для него подобное невежество неразрывно связано с лицемерием, завистью и другими пороками. Выступая в защиту науки, Прокопович высказывает в этом же сочинении очень важную для того времени мысль о необходимости учиться не только «церковным людям», но и всем другим, независимо от их сословной принадлежности. В этой связи уместно вспомнить и об упоминаемом исследователями факте из биографии Феофана: заступничестве за Ломоносова, скрывшего свое крестьянское происхождение.

Проникшись просветительской верой в могущество и спасительность образования, Прокопович остро чувствовал, как скована политическая и культурная жизнь России властью православной церкви. Естественно, он не мог не оценить свободомыслие Петра I в религиозных вопросах. Веротерпимость, проявлявшаяся царем,[7] была по существу очень понятна и близка Феофану. В условиях острой борьбы, которую и тому и другому приходилось вести с властью официальной церкви, вопрос об отношении к иноверцам имел принципиальное значение. В «Рассуждении» П. Шафирова, игравшем роль программного правительственного документа, сравнивается прежняя Россия, которую

---

[6] Феофан Прокопович. Разговор гражданина з селянином да певцем или дячком церковным. — В кн.: П. В. Верховской. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент, т. II, отд. III. Ростов-на-Дону, 1916, стр. 30.

[7] Нельзя, разумеется, абсолютизировать это понятие в применении к Петру I и к рассматриваемой эпохе вообще. В частности, о политике Петра по отношению к раскольникам см.: H.-H. Nolte. Religiose Toleranz in Rußland. 1600—1725. Göttingen, Zürich, Frankfurt, 1969, S. 143—177.

Позицию Петра очень верно характеризует Ю. Ф. Самарин: «Необходимость веры была одним из основных его убеждений, но она была нужна ему только как условие государственного благоустройства, как порука за нравственность частных лиц, как верование. К объекту же, к содержанию верования он был довольно равнодушен» (Стефан Яворский и Феофан Прокопович, стр. 246).

«и в число европейских народов мало причитали», и Россия новая. Автор с гордостью говорит: «Ныне никакое дело, ниже во отдаленных краях европейских не чинится, к которому б или о его царского величества приязни и союзе не старались, или осторожности и опасности в противности от оного себе не имели».[8] Особое внимание уделяется вопросу об изучении европейских языков: «Хотя прежде сего кроме российского языка книг читания и письма никто из российского народа не умел и боле то в зазор, нежели за искусство почитано, но ныне видим и самого его величество немецким языком глаголющего и несколько тысящей подданных его..., искусных разных европейских языков».[9]

То, что раньше рассматривалось как «зазорное», как грех, теперь вызывает одобрение. Происходит переоценка ценностей, которую охотно принимает и поддерживает Феофан.

В проповедях он неоднократно говорит об изменившемся положении России среди других стран Европы: «Которыи нас гнушалися, яко грубых, ищут усердно братерства нашего; которые безчестили, славят; которые грозили, боятся и трепещут; которые презирали, служити нам не стыдятся; многие по Европе коронованные головы не точию в союз с Петром, монархом нашим, идут доброхотны, но и десная его величеству давати не имеют за безчестие: отменили мнение, отменили прежнии свои о нас повести, затерли историйки своя древния, инако и глаголати и писати начали».[10] О международном авторитете, который приобрела Россия при Петре, говорил не только Феофан. Высокую оценку внешней политики Петра можно найти и у других проповедников того времени. Гавриил Бужинский приветствовал победы, одержанные во время Северной войны, и с удовлетворением отмечал, что России «новые покоренные повинуются страны», а «его же (Петра, — *Н. К.*) победительную десницу не токмо верные раби, но и иностранные языцы с великим почитанием и сладостию лобызают».[11]

Стефан Яворский признавал, что допетровская Россия имела «велие несовершенство»: «Нельзя было выглянути за государство и видети, что ся деет на свете. Вестей такожде никаких ниоткуду россияне не имеяху, поведений, нравов и обычаев в иных государствах политичных отнюдь не знаяху. Тем же поношения

---

[8] П. Шафиров. Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр Первый к начатию войны против короля Карола 12 шведского в 1700 году имел. СПб., 1717, стр. 2.

[9] Там же, стр. 5.

[10] Феофан Прокопович. Сочинения. Под ред. И. П. Еремина. М.—Л., 1961, стр. 46. (Далее ссылки на это издание даются в тексте: С, цифра указывает номер страницы).

[11] Гавриил Бужинский. Полное собрание поучительных слов. М., 1784, стр. 26, 35.

и укоризны и досады многия от прочих государств терпяху, аки детища некия и отроки невежливые, которым разве то ведомо, что в дому деется. Ныне же радуися и веселися, Россие, — продолжал Стефан, — егда благоизволи бог ключем Петровым отверсти тебе врата на видение света».[12]

И Бужинский, и Яворский отдавали должное заслугам Петра в военном искусстве, его личному мужеству и храбрости, но они далеко не всегда могли оценить и принять его позицию по отношению к иноверцам. Только Феофан Прокопович оказался и здесь настоящим союзником и последовательным сподвижником Петра.[13] Наконец, — что особенно важно — у Феофана впервые появляются ссылки не только на библейские и античные исторические примеры, но и на обычаи и мнения современных европейских народов. В похвальном слове Петру Феофан подкрепляет свой собственный отзыв о государстве ссылками на суждения иностранцев: «Слава всемирная есть достойная Петрова проповедница. То ему к вечному имени своему довольно, что в иноземных всех странах с великими похвалами возносимь есть и без удивления не воспоминается. Где не скажут, что доселе Россиа толикаго государя не имела? Где не засвидетельствуют, что от него перваго и единаго тако славный везде и великоименитый показался народ российский?» (С, 142). Далее приводятся свидетельства из журнала «Acta eruditorum», издававшегося в Лейпциге, а также суждение о Петре протестантского богослова И. Ф. Буддея. На «ексемпли» других народов неоднократно указывает Феофан в тех случаях, когда речь идет о каких-то новых для России явлениях. Так, например, перенесение нового года с сентября на январь получает такое объяснение: «. . . лучшаго ради сословия с народами европейскими».[14] Правомерность коронации Екатерины обосновывается следующим образом: «Что у окрестных и далечайших народов давнее и обычное есть, того доселе не имела Россия, то ныне первее получила» (II, 104). В перечне стран, где женщины венчались на царство, называются Швеция, Польша, Дания, Испания, Португалия, Англия.

Таким образом, у Феофана появляется широкое представление о международном престиже своей страны: он гордится, что Россия внушает не только страх, но и уважение соседним госу-

---

[12] Слова Стефана Яворского, митрополита рязанского и муромского. — Труды Киевской духовной академии, 1875, № 1, стр. 122.

[13] Именно Феофану, в частности, принадлежит обоснование и толкование правительственного разрешения браков между православными и людьми иной веры. См.: П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель, стр. 290.

[14] Феофана Прокоповича архиепископа Великаго Новаграда и Великих Лук, Святейшаго правительствующаго синода вицепрезидента, а потом первенствующаго члена Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные собранные и некоторые вторым тиснением, а другие вновь напечатанные. Чч. 1—4. СПб., 1760—1774, ч. II, стр. 115. (Далее ссылки на это издание даются в тексте: римские цифры указывают часть, арабские — страницу).

дарствам, что она, в свою очередь, получает у них признание. Феофан и сам способствует расширению культурных связей между Россией и Западной Европой, устанавливая личные контакты с крупными европейскими учеными.[15]

Патриотизм приобретает новое качество у Прокоповича по мере того, как он проникается идеями Петра.[16] Стефан Яворский смотрит на завоевания Петра как на своего рода «крестовые походы»: «Незнаемо было имя Христово над водами петербургскими; незнаемо было имя Христово и над водами азовскими, паче же хуляшеся. Ныне же имя Христово на тех местах прославляется, хвала божия воспевается, тайны божественные действуются, жертва бескровная богу приносится».[17] Феофан Прокопович совсем иначе расценивает победы России: на первый план у него выдвигаются не вопросы веры, а проблемы внешней и внутренней государственной политики. Это особенно заметно в «Слове о состоявшемся между империею Российскою и короною Шведскою мире...». Одним из «плодов мира» Феофан считает «всяких честных учений стяжание» и тут же поясняет свою мысль: «Отложа высокое о нас мнение, гнушатися начнем грубости и невежества и детям нашым лучшаго во всем (ревнуя прочым честным народам) исправления возжелаем» (С, 125). Феофан приветствует и европеизацию русского быта, вызывавшую столько протестов у приверженцев старины: «Есть ли на самое малейшее нечто, честное же и нуждное, посмотрим, на чиннейшее, глаголю, одеяние, и в дружестве обхождение, на трапезы и пирования и прочия благоприятныя обычаи, — не исповемы ли, что и сего Петр нас научил? И чим мы прежде хвалилися, того ныне стыдимся» (С, 135).

Этот решительный отказ от прежних нравственных норм не мог, однако, быть осуществлен без опоры на божественный авторитет. Опираясь на него и умело используя свои богословские знания, Феофан хотел изменить в умах своих слушателей самое представление о том, что угодно богу и что нет, что такое грех и что такое добродетель. Феофан был вынужден облекать свои выступления в традиционную форму проповеди, но часто речь шла у него о вопросах, далеких от религии. Светская тематика явно начала преобладать в проповедях Прокоповича, относившихся к петербургскому периоду его деятельности, когда он сам

---

[15] См.: E. Winter. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert. Berlin, 1953; H. Grasshoff. A. D. Kantemir und Westeuropa. Berlin, 1966.

[16] Й. Тетцнер прослеживает, как понятия «знание» («Wissen») и «отечество» («Vaterland») постепенно утрачивают у Феофана теологический смысл, подвергаясь секуляризации (I. Tetzner. Theophan Prokopovič und die russische Frühaufklärung, S. 355—358).

[17] Слова Стефана Яворского, митрополита рязанского и муромского. — Труды Киевской духовной академии, 1874, № 12, стр. 513.

стал участником петровских реформ.[18] В киевский же период Феофан как проповедник придерживался еще, в основном, правил, предписывавшихся схоластической наукой.

Правила предопределяли и тематику, и композицию, и стиль проповеди. Поэтому оратор мог заранее готовить «проповеднический запас», как это и делал один из образованнейших людей своего времени Стефан Яворский.[19] Широкая начитанность и своеобразный литературный дар позволяли Стефану легко оперировать цитатами, именами библейских и античных героев, символами, искусственными образами и аллегориями. Однако даже И. Чистович, высоко ценивший Яворского, признавал, что в его проповедях есть «остроумие и находчивость, но нет естественности и простоты».

Реальное событие, служившее поводом для произнесения проповеди, имело для Яворского второстепенное или даже третьестепенное значение. На первый же план выдвигалась характерная для литературы барокко хитроумная игра понятиями и образами из Священного писания. Самое событие, о котором идет речь, становится у него лишь одной из иллюстраций вечных божественных истин, изложенных в Ветхом и Новом завете. Так, например, перед отправлением Петра в Прутский поход Стефан произносит проповедь «Моисей российский ко освобождению людей христианских из работы египетския турецкия богом избранный». Петр («Моисей российский») представляется воителем, избавляющим «верных» (христиан) от ига «неверных» (турок). Самая победа Петра рисуется как результат проведенного незадолго до решающей битвы богослужения.

Подобный подход к повествованию о событиях современности можно заметить отчасти и у Гавриила Бужинского. В этом отношении характерно его «Слово благодарственное богу триипостасному о полученной победе над Карлом королем шведским и войски его под Полтавою» (1719). Две трети всего текста посвящено рассуждению о том, что такое благодарность богу, и многочисленным примерам проявления этой благодарности, известным из Священного писания. Когда же автор снова переходит наконец к самой Полтавской победе, он опять-таки сравнивает Петра с Моисеем и подчеркивает, что «брань» возникла «за храми святые и обители разграбленные и что паче за повреждение чести леподостойныя самаго Христа господня».[20]

---

[18] См.: J. Tetzner. Theophan Prokopovič und die russische Frühaufklärung, S. 354.

[19] См.: И. Чистович. Неизданные проповеди Стефана Яворского. СПб., 1867, стр. 4—16. О проповедническом искусстве Яворского см. также: А. А. Морозов. Метафора и аллегория у Стефана Яворского. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971, стр. 35—44.

[20] Проповеди Гавриила Бужинского (1717—1727). Юрьев, 1901, стр. 333.

У Феофана же религиозный аспект, как правило, заметно приглушен, а в некоторых проповедях и совершенно отсутствует. Прокопович выступает не столько как православный христианин, борющийся за чистоту веры, сколько как политический деятель, оценивающий события с точки зрения государственных интересов. Это изменение внутреннего смысла проповеди существенно меняет характер и самого жанра. И Яворский, и Бужинский, и другие проповедники петровского времени касались злободневных вопросов современности, но только у Прокоповича проповедь перестает быть проповедью в собственном смысле этого слова и становится произведением светским, жанром публицистическим по преимуществу.

Если в упоминавшейся проповеди Бужинского, посвященной Полтавской победе, тема благодарения бога доминирует, занимая и по объему бóльшую часть текста, то у Прокоповича эта же тема звучит только в самом начале и в заключении его проповеди на тот же случай. Феофан как бы отдает дань необходимому канону, причем ограничивается всего несколькими фразами и переходит к вопросам, занимающим его более глубоко: он говорит о Полтавской победе как о героическом подвиге русского народа. Самое воспоминание о победе, одержанной восемь лет назад (проповедь произносилась в 1717 г.), приобретает патриотический смысл. Обосновывая уместность своего выступления, Прокопович заявляет: «Человек, о славе отечества своего нерадящий всегда у мужей мудрых в не дорогой цене ходит, яко малодушный и грубый» (С, 49).

Излагая причины войны со шведами, Прокопович в основном следует «Рассуждению» П. Шафирова, причем мотив «зависти» варьируется и развивается очень подробно. Наконец, переходя к описанию военных событий, Феофан как будто забывает о «божиих благодеяниях» и восхваляет уже не бога, но людей — непосредственных участников тяжелой борьбы с сильным и опытным неприятелем. «Разбила *руская храбрость* замок ваш Ноттембург, — говорит Феофан, обращаясь к «супостатам», — разорила Канцы, добыла Дерпта крепкаго, сломила железную Нарву» (С, 53).[21] Особенно важны строки, посвященные самому решительному моменту войны — Полтавскому бою: «Блисну отовсюду страшный огнь, и возгремели смертоносныя громи. Отовсюду чаяние смерти, а дымом и прахом помрачился день; непрестающая стрельба, а упор неприятельский непреклонный. Но *сердца российская ваша*, храбрейшии генералы и протчии офицеры, *ваша, вси воини* дерзостнейшии, *сердца* забыли телеснаго своего состава, возмнилися себе быти адамантиновы, или паче забыли житейския сладости и смерть предпочли на житие: так вси прямо стрельбы, в лице смерти, никто же вспять не погля-

[21] Курсив мой, — *Н. К.*

дает; единое всем попечение, дабы не с тылу смерть пришла» (С, 56). Это одно из самых первых описаний Полтавского боя в русской литературе замечательно еще и тем, что причиной знаменитой победы здесь представляется не милость бога, а самоотверженность и мужество русских солдат.

Бог у Прокоповича — это не столько вершитель человеческих судеб, сколько покровитель тех, кто живет и действует по законам разума и долга, причем долг понимается как подчинение своих личных интересов интересам государства.

В «Слове в день святых апостол Петра и Павла» (1728) «много чудесным делом бога» Феофан объявляет «обращение человека от тьмы неведения ко свету познания его и от вечной погибели ко спасению и славе некончаемой» (II, 229). Таким образом, спустя много лет, Прокопович повторяет и развивает ту же идею, которая была высказана им еще в «Разговоре гражданина з селянином». Противопоставление знания невежеству имеет для него, как и раньше, этический характер. Искусно толкуя отдельные противоречивые места Священного писания, Прокопович опровергает мнение тех, которые полагают, что «прямая мудрость богу не приятна, а сущее невежество любимо богу» (II, 238).

Человек, проявлявший серьезный интерес к естественным наукам и европейской просветительской философии, превосходно начитанный и образованный, владелец уникальной библиотеки, организатор школы в своем доме и опытный педагог, Феофан и всей своей личной деятельностью противопоставляет себя невеждам, видящим в познании грех. Идеи просвещения проникают даже в проповеди Прокоповича, посвященные собственно богословским темам. Так, в «Слове в день рождества господа нашего Иисуса Христа» (1716) Феофан сравнивает сына божьего с «премудрым некиим учителем», который «человека проста и невежлива творит себе подобна мудреца, не ум ему вливая во главу, но готовый в нем от естества ум ясным учением объясняя» (I, 123). Высказывание характерно и потому, что здесь проявилось представление Прокоповича о самом процессе познания: не божественная мудрость снисходит на человека, но его природный («готовый ... от естества») ум совершенствуется благодаря «ясному учению». Неоднократно и в других проповедях Феофан апеллирует к «естественному разуму» слушателей.

Однако борьба с откровенным невежеством была не так сложна для Феофана, как борьба с «ложной мудростью», в которой он видел еще бóльшую опасность. Ему приходилось иметь дело с врагами, которые были иногда не менее умны и образованны, чем он сам. Взаимные обвинения в ереси заставляли каждую из враждующих сторон прибегать к ловкой эквилибристике для доказательств «лжемудрия» противника. Феофан, прошедший школу иезуитов, в совершенстве владел этим искусством, однако можно заметить, что он последовательно стремился представить

«лжемудрие» как результат действия страстей. Истинная мудрость в глазах Прокоповича — это торжество разума, ложная — торжество страстей. Разъясняя свое понимание ереси, Феофан пишет: «Сие бо рождается от разных страстей и похотей, не просвещающих, но помрачающих разум, например: един желает быти автором или изобретателем некоего учения, есть то похоть гордости...; другий, что первее похвалил, хотя после и покажут ему ясно, что то ложное, но отстати стыдится, а к сему наущает дщерь гордости жестокосердие или упрямство... Иный же, ненавидя кого или кому завидя, все, что тот произносит, сей отвергает и, хотя ведает, что учение его прямое, да тщится опровергнути, яко ложное: иногда готов был сам то ж говорити, да понеже заговорил другой, отметает. Ведомое се желчной ярости и зависти действие... Кто же зде не видит и крайней дурости? не хощет бо таковый быти в небе, для того что туды идет тот, кого он не любит. От таковых и других страстей рождаются богопротивная суемудрия, и в головах остроумных и учении просвещенных. Что же речем о человецех тупых, грубых и необученных?» (II, 244—245).

Человек, владеющий знаниями, для Прокоповича далеко не всегда может быть признан истинно мудрым. Это условие необходимо, но недостаточно: важно еще уметь покорять страсти разуму; разум же повелевает неукоснительно следовать долгу.

Традиционный жанр проповеди был принципиально обновлен Прокоповичем прежде всего именно потому, что у него изменились основные этические критерии: прежние нравственные идеалы были отвергнуты и вместо них появились новые. Раньше проповедник призывал слушателей выполнять свой христианский долг (долг перед церковью), теперь на первое место выдвигался долг гражданский (долг перед государством). С одной стороны, это означало отчасти освобождение человека от жестких уз церковной морали. Рассуждая о необходимости стремиться к вечному блаженству в царстве божием, Феофан решительно заявляет: «Не токмо же не запрещает бог временная праведно стяжавати, но и повелевает» (II, 213). В собственной жизненной практике Феофан, как известно, довольно энергично и успешно «стяжавал временная», преследуя вполне земные интересы. Но, с другой стороны, Прокопович настойчиво отстаивает идею служения государству, идею по-новому понятого долга. Правда, Феофан не мог обойтись без ссылки на «божие смотрение» и волю бога, но он обращался к божественному авторитету прежде всего для того, чтобы утвердить в глазах верующих первостепенную роль гражданской деятельности. Показателен в этом отношении пример, приводимый в «Слове в день святаго благовернаго князя Александра Невского» (1718), где осуждается «неистовство тех, котории мнятся угождати богу, когда оставя дело свое, иное, чего не должни, делают»: «Судия, на пример, когда суда его ждут

обидимии, он в церкви на пении. Да, доброе дело. Но аще само собою и доброе, обаче понеже не во время и с презрением воли божия, како доброе, како богоугодное быти может? Ищут суда обидимии братия и не обретают; влечется дело, а оным бедным самое продолжение прибавляет обиды: странствуют, тоскуют, иждивают много, далече от дому, и там не строятся, и зде разораются. А для чего? Судия богомольствует. О, аще кая ина есть, яко сия молитва в грех! Сие же разсуждение не для судий единых, но на пример токмо, тожде бо и о прочиих малых, и великих, и малейших чинах годствует» (С, 97—98). Самая молитва может быть расценена как грех, если потраченное на нее время отрывает человека от выполнения его гражданских обязанностей. Такое понимание долга перед богом было совершенно необычным и новым в русской литературе того времени.

Отказ от этических норм и идеалов, принятых другими проповедниками, предопределил для Прокоповича обновление всего характера проповеди как жанра.

Из сорока способов составления проповедей, известных в Европе, в Киево-Могилянской академии использовалось около двенадцати,[22] но каждый из этих способов представлял собой абстрактный канон и не предусматривал связи с современностью, с обстоятельствами слушателей. Эти каноны копировали в основном латино-польскую проповедь, для которой характерно «отсутствие между отдельными частями органической связи».[23] Витиеватое нагромождение словесных украшений и риторических фигур соответствовало вкусу, воспитанному на литературе барокко. Феофан же по существу выступил против этого направления, решительно заявив по поводу проповедей польского иезуита Фомы Млодзяновского: «Самый обыкновенный недуг нашего времени есть тот, который мы не без основания назовем курьезным слогом, потому что в числе других средств для приобретения научной знаменитости ученые хвастуны особенно усвоили себе манеру говорить что-нибудь удивительное, необыкновенное и неожиданное. Поэтому они выдумывают курьезные, но совершенно вялые и смешные умствования и спрашивают, почему в имени святейшей девы или Иисуса Христа находится пять букв, почему бог чрез пророка сказал так, а не иначе?».[24]

Резко критикуя своих предшественников и современников, Прокопович выдвигал новую теоретическую программу, развер-

---

[22] См.: Н. Петров. Из истории гомилетики в старой Киевской академии. — Труды Киевской духовной академии, 1866, № 1, стр. 97—102.

[23] П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель, стр. 73.

[24] Цит. по: Н. И. Петров. Выдержки из рукописной риторики Феофана Прокоповича, содержащие в себе изображение папистов и иезуитов — Труды Киевской духовной академии, 1865, № 4, стр. 627—628. (Пер. с лат.).

нутую им в его «Поэтике» и «Риторике».[25] Говоря о том же Млодзяновском, Феофан возмущенно спрашивал: «Есть ли в нем хоть тень ораторской опытности? Где наука составлять приступы, изобретенная и переданная столькими ученейшими наставниками древними и новейшими? Где здравые доказательства? Где движения душевные? Где необходимейшие в священных речах заключения? Где структура мерной речи? Где украшение, блеск, остроумие, сила, важность, плавность? Где энергия, где тяжеловесность мыслей, где единство частей? Совершенно нет никакого разнообразия, без которого красноречие ничтожно».[26] По этим вопросам можно судить, какие требования предъявлял Прокопович к автору проповеди. Феофан считает необходимым следовать определенным правилам составления проповеди (приступы, заключения и т. д.), но особое значение придается композиционной стройности («единство частей») и логичности рассуждений («здравые доказательства»). Высмеивая ораторские приемы проповедников, перегружавших свои речи хитроумными аллегориями и сравнениями, Феофан выдвигал иные требования: ясность и логичность, умение не удивить, а убедить слушателя разумными, стройно изложенными доводами. Истина прекрасна сама по себе, без украшательств — вот идея, отчетливо высказанная Прокоповичем в «Слове о великом деле божии, сиесть: о обращении языков проповедию апостольскою» (1720). Хотя тема «слова», казалось бы, совершенно богословская, Феофан придает и ей очень злободневный смысл. «Худороднии» апостолы, посланные богом «на обращение мира к познанию истины», сталкиваются с «высокоумными язычниками, между которыми мнози были славящиися родом божиим» (II, 22, 25). Слушателям нетрудно было уловить политические аллюзии, содержавшиеся в этой речи: борьба «худородних» апостолов со знатными язычниками в изло-

---

[25] О значении этих трудов Прокоповича см.: А. Н. Соколов. О Поэтике Феофана Прокоповича. — В кн.: Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. М., 1965, стр. 443—449; Р. Лужный. «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии. (Первая половина XVIII в.). — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры, стр. 47—53; Л. И. Кулакова. Становление теории русского классицизма. — В кн.: Л. И. Кулакова. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., 1968, стр. 7—14; В. П. Вомперский. Стилистическая теория Феофана Прокоповича. — В кн.: В. П. Вомперский. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970, стр. 70—98. Здесь же в «Приложении» (стр. 189—200) опубликован русский перевод главы «О трех стилях речи» из «Риторики» Прокоповича; А. А. Смирнов. К проблеме соотношений русского предклассицизма и гуманистической теории поэзии. Ф. Прокопович и Ю. Ц. Скалигер. — В кн.: Проблемы теории и истории литературы. Сборник статей, посвященный памяти проф. А. Н. Соколова. М., 1971, стр. 67—73.

[26] Цит. по: Н. И. Петров. Выдержки из рукописной риторики Феофана Прокоповича, содержащие в себе изображение папистов и иезуитов, стр. 635.

жении Феофана напоминала ожесточенную борьбу между сторонниками и противниками петровских реформ. Показательна в этой связи и характеристика выступлений апостолов: «Не было слово их софистическое, то есть хитроречивое, не имело цветов и красот риторских, которыми услаждается, не имело ухищренных узлов, которыми уловляется человеческое сердце» (II, 30). Сам Феофан тоже, конечно, не пренебрегал «цветами и красотами риторскими», но стремился ограничить их употребление.

Говоря о практическом применении ораторского искусства, Феофан выделяет следующие рубрики: 1) восхваление мудрых правителей; 2) воодушевление войска перед битвой; 3) остановление волнения в войске; 4) письма об общественных делах; 5) посольства; 6) исторические сочинения. Далее следуют уже задачи, связанные с вопросами религии: 7) обличение еретиков; 8) хвала богу; 9) церковная история и жития святых; 10) проповедь.[27] Однако проповедь в своем, так сказать, чистом виде в деятельности самого Прокоповича постепенно изживает себя. В его «словах» ораторское искусство служит прежде всего именно светским целям (названным им в первую очередь). Прокопович указывает три основных вида церковного красноречия: 1) изъяснительное (применяется в панегириках и торжественных речах); 2) совещательное (проповедь христианской морали); 3) обличительное (используется для осуждения пороков и ересей).

Однако несмотря на все эти разграничения в теории, на практике Феофан довольно часто органично объединял все три вида. Так, например, упоминавшееся уже «Слово в день святаго благовернаго князя Александра Невского», казалось бы, по замыслу должно было иметь совещательный характер: речь идет здесь о том, как человек должен вести себя, чтобы «спастися», т. е. получить вечное блаженство. Между тем проповедь Феофана превращается в общественно-политический трактат, в котором доказывается, что единственный путь к спасению — добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей («всяк разсуждай, чесого звание твое требует от тебе, и делом исполняй требование его», С, 98). Примером служит Александр Невский, которому и посвящен небольшой исторический экскурс. Прокопович говорит о достоинствах Александра, о его «труде великом, мудрых советах, многоочитых промыслах, неусыпных попечениях, неистомленных подвигах» (С, 100). Похвалы Александру, однако, лишь подготавливают переход к прославлению царствующего государя — Петра I: «А егда тако о должностех наших поучаемся и ставим в образ того святаго Александра Невскаго, видим другий образ, живое зерцало тебе, Александров не токмо в державе, но и в деле наследниче, богом данный монархо наш. Кто тако, якоже ты изучил и делом показал еси артикул сей, еже ходити

---

[27] П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель, стр. 109—110.

по долженству своего звания? Мнози царие тако царствуют, яко простой народ дознатися не может, что есть дело царское. Ты един показал еси дело сего превысокаго сана быти собрание всех трудов и попечений, разве что и преизлишше твоего звания, являеши нам в царе и простаго воина, и многодельнаго майстера, и многоименитаго делателя. И где бы довлело повелевати подданным должная, ты повеление твое собственными труды твоими и предваряеш и утверждаеш» (С, 102—103). Это не традиционная похвальная формула, завершавшая проповедь на любую тему, но довольно развернутая и продуманная характеристика Петра. В этой же проповеди, где так тесно объединяется изъяснительное и совещательное красноречие, можно выделить фрагменты, представляющие собой блестящие образцы обличительного красноречия Феофана. Осуждая «сусрное и непотребное многих роптание», он саркастически говорит о своих идейных противниках: «Обретаются тако упрямии и жестокосердии, яко и самой паче полудне светлой истины видети не хотят и, тщащеся противо рожна прати, а не имуще ответа разумнаго, безразумным сим словцем отговаривают: „да однакож“» (С, 97).

Все три вида красноречия (совещательное, изъяснительное и обличительное) представлены в одном и том же «слове». При переходе от одного вида к другому соответственно менялся и стиль повествования, но это как раз не противоречило теории Прокоповича.[28]

Итак, Прокопович признает правомерность использования разных стилей в одном и том же произведении. При неразработанности системы прозаических жанров в русской литературе того времени эта относительная стилистическая свобода, допускавшаяся Прокоповичем, имела принципиальное значение.

«Слова» Прокоповича можно, конечно, подразделить на разные группы по их тематическому признаку (по-своему это и постарался сделать сам писатель в «Риторике»). Но условность такого деления уже обнаружили приводившиеся выше примеры. Смысловая и стилистическая многоплановость «слов» Прокоповича серьезно затрудняет их классификацию и вместе с тем расширяет возможности избранного им жанра и позволяет сближать проповеди Прокоповича с произведениями других жанров, причем не только прозаических, но и стихотворных.

Вопрос о судьбе жанра проповеди в русской литературе XVIII в. нельзя решать абстрактно, ограничиваясь признанием, что «проповедь мало-помалу утрачивает тот публицистический характер, какой был придан ей Феофаном».[29] Это утверждение вызывает возражения уже потому, что в царствование Елизаветы

---

[28] В. П. Вомперский. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. Приложение 3, стр. 198.

[29] П. Морозов. Феофан Прокопович как писатель, стр. 269.

проповедь продолжает оставаться одним из важнейших средств идеологической борьбы: меняется только ее политическая ориентация.[30] В то же время многоплановость, которая была характерна для проповеди Прокоповича, создавала некоторую «перегрузку» жанра, и эта «перегрузка» могла быть ликвидирована за счет развития других жанров, принимавших на себя некоторые функции прежней проповеди.

В «Кратком руководстве к риторике» (1743) Ломоносова заметно стремление ограничить задачи жанра проповеди, обособить его в тематическом и стилистическом отношении. «Публичные слова, — сказано в § 121, — которые в нынешнее время больше употребительны, суть: проповедь, панегирик, надгробная и академическая речь. Проповедь есть слово священное, от духовной персоны народу предлагаемое, которого суть два рода — похвальный и увещательный. Похвальные проповеди предлагаются в прославление божие и в похвалу святых его на господские праздники и на память нарочитых божиих угодников. Увещательною проповедию учит духовный ритор, как должно христианину препровождать жизнь свою богоугодно».[31] Важное отличие от системы Прокоповича прежде всего здесь в том, что выделяется только два рода проповеди («похвальный» соответствует «изъяснительному» у Прокоповича, «увещательный» — «совещательному»). Ломоносов уже не считает возможным говорить о третьем роде — «обличительном», который Феофан так широко использовал. Вообще тематика, намеченная Ломоносовым для жанра проповеди, охватывает довольно узкий круг вопросов, которыми отнюдь не исчерпывалось содержание проповедей Феофана. Вместе с тем многие его «слова» могут быть названы, по терминологии Ломоносова, «панегириками» или «надгробными речами». Эти определения подчеркивали светский характер жанра, по существу уже представленного в творчестве Прокоповича.

Приводя в «Риторике» образцы ораторской прозы, Ломоносов давал примеры только из античных авторов и европейских писателей средневековья и нового времени, не называя ни одного русского оратора. Между тем в зачеркнутом варианте к § 106, где речь шла об изображении печали и приводился пример из надгробного слова Флешье маршалу Тюренну, у Ломоносова была следующая фраза: «Но лучшие сего примеры читать можно в словах надгробных покойного Феофана Прокоповича, архиепископа новогородского».[32] Одним из соображений, заставивших Ломоно-

---

[30] См.: П. Н. Берков. Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740 годах. — Известия Отделения общественных наук АН СССР, 1937, № 1, стр. 218; И. З. Серман. Поэтический стиль Ломоносова. М.—Л., 1966, стр. 27—28.

[31] М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VII. М.—Л., 1952, стр. 69.

[32] Там же, стр. 174.

сова исключить этот отзыв о Феофане из окончательного текста «Риторики», исследователи вполне справедливо предполагают нежелание Ломоносова ставить в пример автора, который не соблюдал «чистоты штиля».[33] Это же соображение, по-видимому, сыграло свою роль и при правке рукописи «Эпистолы о стихотворстве» (1748) Сумарокова: по предложению Ломоносова Сумароков вычеркнул стихи, посвященные Прокоповичу:

...Феофан
Последователь сей пресладка Цицерона
И красноречия российского корона.
Хоть в чистом слоге он и часто погрешал,
Но красноречия премного показал.
Он ритор из числа во всей Европе главных,
Как Мосгейм, Бурдалу, между мужей преславных.
. . . . . .
Разумный Феофан, которого природа
Произвела красой славенского народа,
Что в красноречии касалось до него...[34]

Сумароков, вероятно, еще более, чем Ломоносов, считал Феофана своим литературным предшественником. Апелляция к разуму (характерен эпитет «разумный Феофан»), стремление к ясности, строгости и простоте изложения — все это особенно ценил Сумароков, который в последующей борьбе с Ломоносовым и его единомышленниками сумел использовать и авторитет Прокоповича. В полемическом сочинении «К несмысленным рифмотворцам» Сумароков замечает: «Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты; что похвальняй естественныя простоты, искусством очищенной, и что глупяе сих людей, которые вне естества хитрости ищут?».[35]

Хвалебный отзыв о Феофане дает Сумароков в статье «О российском духовном красноречии»: «В сем риторе вижу я величество, согласие, важность, восхищение, цветность, рассуждение, быстроту, перевороты, страсть и сердцедвижение, огромность, ясность и все то, что особливо Цицерону свойственно было».[36] Вместе с тем и здесь Сумароков не упускает случая высказать критическое суждение о стиле Прокоповича: «Малороссийские речения и требуемые, не ведаю ради чего, чужестранные слова сочинения его несколько безобразят; но они, — продолжает Сумароков, — довольно заплачены *другою чистотою*».[37] Под «другою

---

[33] Там же, Примечания, стр. 813.
[34] См.: Там же, стр. 821.
[35] А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений, ч. IX. М., 1781, стр. 308—309.
[36] Там же, ч. VI, стр. 298. В «Трудолюбивой пчеле» (1759) этой статьи нет; по-видимому, она была написана позднее, в 1760-е годы.
[37] А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений, ч. VI, стр. 298. (Курсив мой, — *Н. К.*).

чистотою» писатель, по-видимому, понимает логичность, стройность и ясность изложения. В этой же статье Сумароков как бы противопоставляет Феофану другой тип проповедника: «Многие духовные риторы, не имущие вкуса, не допускают сердца своего, ни естественного понятия во свои сочинения; но умствуя без основания, воображая неясно и уповая на обычайную черни похвалу, соплетаемую ею всему тому, чего она не понимает, дерзают во кривые к Парнасу пути и, вместо Пегаса, обуздывая дикого коня, а иногда и осла, втащатся едучи кривою дорогою на какую-нибудь горку, где не только неизвестны музы, но ниже имена их и, вместо благоуханных нарциссов, собирают курячью слепоту».[38] Этот сатирический пассаж, вышедший как будто бы из-под пера самого Феофана, в свое время вполне легко мог быть обращен против Млодзяновского, Яворского и других сторонников барочной проповеди. Сумароков, однако, едва ли имел в виду какого-то определенного духовного ритора, и смысл полемики, очевидно, был иной: писатель ополчался против современного ему метафорического стиля, «неясного» и «неестественного». Возможно даже, что Сумароков стремился здесь задеть своего собственного противника — Ломоносова.

Решительный противник «великолепия», Феофан был ближе Сумарокову, чем Ломоносову. Но оба крупнейших писателя русского классицизма, признавая талант Прокоповича и отводя ему почетное место среди «риторов всей Европы», не могли его считать вполне «образцовым писателем». Феофан действительно часто «погрешал в чистом слоге» и соответственно нарушал ту жанровую иерархию, которая сыграла большую роль в системе классицизма. Между тем этот «грех» Феофана был по существу одним из его главных достоинств: оставаясь в пределах одного жанра, Прокопович сумел наметить основные темы, которые стали впоследствии разрабатываться в разных литературных жанрах.

Наиболее близким к «слову» Прокоповича был жанр панегирика, узаконенный в теории Ломоносова. Уже одному из первых исследователей творчества Феофана Прокоповича, В. М. Перевощикову, пришла идея сопоставить «Слово на похвалу Петра Великого» Прокоповича и «Слово похвальное Петру Великому» Ломоносова. В. М. Перевощиков заметил, что Феофан «почерпнул мысли из самого предмета, из обстоятельств слушателей»; Ломоносов же «превзошел Феофана далеко в правильности, чистоте и силе слововыражения».[39] И в содержании, и отчасти в композиции обоих «слов» немало общего. В «Слове» Прокоповича четко и последовательно говорится прежде всего о военных заслугах Петра, затем о его внутригосударственной деятельности и гражданских учреждениях и, наконец, о его христианских доб-

[38] Там же, стр. 297.

[39] В. М. Перевощиков. Феофан Прокопович. — Вестник Европы, 1822, № 9—10, май, стр. 13—15.

родетелях. Эта композиция, вероятно, послужила основой и для ломоносовского «Слова», в котором есть, конечно, и некоторые изменения в расположении материала. Например, Прокопович неоднократно возвращается к теме врагов Петра; Ломоносов же вначале говорит о делах государя, а затем о препятствиях, с которыми ему пришлось столкнуться, и больше к этой теме не возвращается. Близость Ломоносова к Прокоповичу проявляется не только в общей оценке Петра как военного и государственного деятеля, но и в сходной трактовке отдельных эпизодов из жизни государя, иногда в почти буквальных совпадениях. Так, упоминая о знаменитом петровском ботике, Феофан говорит о нем: «Древо тогда презренное, ныне же преславное» (С, 131). Ломоносов отчасти повторяет, отчасти уточняет Феофана: «Вещию малый ботик, но действием и славою великий».[40]

Однако, несмотря на все сходство между рассматриваемыми «словами», здесь были и очень существенные различия, обусловленные уже тем обстоятельством, что Прокопович выступал всего через полгода после смерти Петра, а Ломоносов — почти через тридцать лет.[41] Для Феофана Петр — современник, хорошо знакомый человек. Автор «слова» ясно дает понять слушателям, что сам он принадлежит к числу тех, «которые изблизка знали его (Петра, — *Н. К.*) во всем действующа и пекущася, обхождением же и беседами услаждалися» (С, 141). Феофан упоминает далее о таких чертах Петра, как удивительная память и находчивость, проницательность, дипломатическое искусство «диссимуляции» и т. д. Вырисовывается не отвлеченный образ идеального правителя, а живой облик конкретного человека, смерть которого для самого Феофана представляется большой утратой. В «слове» Прокоповича в отличие от ломоносовского «слова» уделяется место вопросу о борьбе Петра с раскольниками и суеверами. Феофан переходит к обличению лицемеров — своих давних врагов и с удовлетворением вспоминает, как Петр «притворная чюдеса, сновидения, беснования искоренял, лестцов, колтунами, железами, и рубищами, и лукавым смирением, и воздержанием к виду святости, позлащающих себе, познавать учил и ловить и истязовать приказовал» (С, 139). В похвальное «слово» Прокоповича вводится полемический элемент, придающий выступлению особенно злободневный характер, но вместе с тем невольно нарушающий тематическое и стилистическое единство произведения. Для Ломоносова такое нарушение было решительно неприемлемо, и его «слово» строго выдержано в «высоком штиле», соответствующем избранному жанру. Самая отдаленность времени помогала Ломоносову оценивать деятельность Петра с позиции не

---

[40] М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 599.

[41] «Слово» Ломоносова датируется предположительно промежутком с 1754 г. (не позднее ноября) по 14 апреля 1755 г., см.: М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VIII, Примечания, стр. 1044.

только публициста, но и историка. В центре его внимания — результаты деятельности Петра как «великого нашего защитника» и «великого России просветителя». Все другие черты, присущие Петру и отмеченные Прокоповичем, Ломоносов отбрасывает как ненужные, излишние: они могут только затемнить идеальный образ государя. Действительно, из «слова» Феофана мы узнаем и о политической «диссимуляции», и даже о жестокости Петра («ловить и истязовать приказовал»). Феофан, разумеется, говорил об этом, нисколько не желая бросить тень на Петра: речь шла о средствах борьбы, вполне приемлемых с точки зрения самого оратора. Но если Прокопович выступал как последовательный апологет всей политики Петра в целом, то перед Ломоносовым стояла иная задача: выделить в личности и деятельности Петра те черты, которые могли служить достойным примером для других монархов, и в первую очередь для царствовавшей в то время Елизаветы. «Изображая Петра как неутомимого общественного деятеля, как государственного человека, подчинявшего всю свою жизнь неустанным „трудам" на пользу родной страны, Ломоносов уже тем самым создавал очень невыгодный фон для его ленивой и невежественной дочери», — справедливо замечает И. З. Серман.[42] Между тем политические обстоятельства вынуждали преподносить урок царям в завуалированной форме: и в «Слове похвальном» и в одах Ломоносова Елизавета называется продолжательницей дел Петра.[43]

Этот вынужденный прием был, однако, далеко не нов. Непосредственным предшественником Ломоносова и здесь оказался именно Феофан Прокопович. В «Слове на погребение Екатерины Алексеевны» (1727) Прокопович характеризовал деятельность Екатерины, постоянно сопоставляя ее с Петром: «Делал архитектурных и манифактурных и прочих искусств заводы Петр, делала и Екатерина; вводил в подданных своих благонравие и честное обхождение Петр, вводила и Екатерина; шествовал в военные походы Петр, шествовала и Екатерина» (II, 197). Наконец, Феофан подводит итог двухлетнему царствованию императрицы: «Многая от Петра намеренная произвела в дело, многая начатая совершила» (II, 196). В этих словах содержится высшая похвала скончавшейся Екатерине и вместе с тем указывается пример, достойный подражания, новому императору — Петру II. Феофан далее обращается непосредственно к нему и предлагает ему целую программу, которой юный государь должен руководствоваться в своей деятельности (II, 200).

При Петре II Феофан стремился взять на себя роль мудрого наставника, почтительного к царской особе, но позволяющего себе давать некоторые полезные советы юному государю. Как по-

[42] И. З. Серман. Поэтический стиль Ломоносова, стр. 18.

[43] О вынужденной переработке текста «Слова похвального» Ломоносова см.: И. З. Серман. Поэтический стиль Ломоносова, стр. 16—18.

казал П. Н. Берков, латинская ода Прокоповича, посвященная Петру II, содержала тонкие политические намеки и выпады против конкретных лиц — врагов Феофана.[44] Между тем к этой же оде близко по содержанию во многом и приветственное слово Петру II, приуроченное Прокоповичем к тому же событию — посещению императором Новгорода в 1728 г.

Таким образом, уже в творчестве самого Феофана стихотворный жанр оды (хотя и латинской) начинает отчасти дублировать прозаический жанр похвального слова. Единство целей, задач и тематики естественно предопределяло композиционное и стилистическое сходство между разными жанрами. Полностью обнаружилось оно, однако, позднее: в пору расцвета русской одической поэзии.

В одах Ломоносова, посвященных Елизавете Петровне и другим членам царской семьи, реальные люди и их отношения представали в идеализированном виде. Но подобную картину можно наблюдать уже и в проповедях Феофана Прокоповича, предназначенных для Петра II, а позднее — для Анны Иоанновны. Анна вовсе не стремилась продолжать начинания Петра I, искренним сторонником которых оставался Прокопович, но теперь-то и проявилось умение Феофана хвалить государя за его заслуги не действительные, а воображаемые, и тем самым давать ему уроки, замаскированные комплиментами. Характерно в этом отношении «Слово в день воспоминания коронации государыни императрицы Анны Иоанновны» (1734). Прокопович подчеркивает, что Анна выступает как преемница Петра I: «Славные Петра Великого оконченные дела подтвердила, возобновила оставленные и, что он начал и яко бы без покрова оставил, сия достойнейшая Петра наследница иное уже совершила, а иное совершити старается» (III, 175—176). Итак, политика Петра предлагается императрице как пример для подражания, как верный ориентир в ее собственной политике. Подобный же смысл имело позднее обращение Ломоносова к Елизавете как «Петровой дщери». Имея в виду открытие каналов и доков в Кронштадте, в оде 1752 г. Ломоносов писал:

Великая Елисавет
Дела Петровы совершает
И глубине повелевает
В средину недр земных вступить!
. . . . . .
Помысли, зря дела толики
И труд, что можем понести,
Что может ныне Петр Великий
Чрез Дщерь Свою произвести![45]

---

[44] П. Н. Берков. Одно из первых применений эзоповского языка в России (латинская «Ода Петру II» Феофана Прокоповича, 1727 г.). — В кн.: Проблемы теории и истории литературы, стр. 74—82.

[45] М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 501—502.

Дела, начатые Петром и осуществленные уже без него, ставятся в заслугу царствующей императрице независимо от того, способствовала она этому или нет. Автору важно, однако, выразить общественное мнение по поводу проводимых мероприятий и показать государыне, чем может она заслужить подлинную славу и признательность подданных. Это умение Ломоносова придать хвалебной оде публицистический, гражданственный характер опять-таки напоминает приемы, использовавшиеся Феофаном Прокоповичем. В названном выше «слове» Феофана нарисована картина благоденствующей России при Анне Иоанновне: «Посмотрим на царствующий град сей, где в великолепном доме шляхетное юношество ее определением и щедрым содержанием воспитание имеет и, кроме того, какой успех в воинской науке оное имеет, не удивимся ли? Посмотрим на другой царствующий град Москву, увидим с великим нашим удивлением приумноженное в оной строение и украшение. Посмотрим и на все страны России, увидим всякую из оных в лучшем и безопаснейшем от прежнего состоянии, когда варварство исчезает, хищения и разбои на суде праведно обличаются и воровство во всяком месте искореняется, а наука воинская поощряется, и заводятся изрядные художества. ...Посмотрим паки на сей же преславный Петров град, не самовидцы ли мы, с какою строгостию и с каким попечением всякое общее дело продолжается? Видим коллегии, суды и сенат, видим академию и гимназию, и все оное в лучшем от прежнего состоянии» (III, 176—177). Феофан хвалит Анну, но эти похвалы имеют определенный смысл: речь идет по существу не о том, что сделано, а о том, что следовало бы сделать. Программа, предлагаемая Прокоповичем, касается в первую очередь вопросов светских: системы управления, науки, образования, судопроизводства, градостроительства.

Подобный способ «восхваления» императрицы можно наблюдать и в одах Ломоносова, проникнутых тем же патриотизмом, гражданственностью и заинтересованностью в судьбе отечественной культуры. Естественно поэтому, что некоторые мотивы и образы, характерные для ломоносовской поэзии, встречаются уже у Феофана Прокоповича.

Так, например, в проповедях Феофана часто появляются словосочетания «всенародная польза», «общее добро отечества». Эти понятия играют существенную роль во всей системе как общественных, так и художественных взглядов писателя — убежденного сторонника просвещенного абсолютизма, считающего высшим долгом служение государству. В «Слове на новое 1725 лето» Прокопович сформулировал эту идею следующим образом: «А понеже всех собственная благая на общем добре отечества висят, долженствуем, яко всегда, тако наипаче в сей новозачинаемаго лета день, со усердием молити вышняго о благоповедении и сохранении того, на котором все добро общее

основанное содержит десница вышняго: о державнейшем императоре нашем Петре великом» (II, 124). Говоря о коронации Екатерины, Феофан подчеркивает, что Петр задумал это «ради всенародной пользы и от многих бед предохранения» (II, 185—186). Рассуждая о воцарении Анны Иоанновны, Прокопович вновь приводит свой излюбленный довод: «Понеже бо на верховной власти основано стоит наше всех общее добро и беспечалие, тишина, покой, от внутренных и внешних напастей пристанище и защита, то кто бы к государю своему искреннею любовию не горел, тот сам своего добра и самого себе не любил бы» (III, 110).

У Ломоносова этот мотив тоже появляется, но в соответствии с изменившимися политическими обстоятельствами приобретает и новый оттенок:

Теперь во всех градах Российских
По селам и в степях Азийских
Единогласно говорят:
«Как Бог продлит чрез вечно время
Дражайшее Петрово племя,
Счастлива жизнь и наших чад:
Не будет страшныя премены,
И от Российских храбрых рук
Рассыплются противны стены
И сильных изнеможет лук.[46]

Ломоносов прославляет Елизавету как дочь Петра и продолжательницу его дел, противопоставляя ее Анне Иоанновне, царствование которой предстает у поэта уже в более реальном виде и оценивается критически. Ломоносов обновляет, по сравнению с Прокоповичем, и самую тему пользы, искусно соединяя ее в одной из од с темой красоты.[47]

Стремление к метафоричности, характерное для Ломоносова, автора од, не было свойственно Феофану Прокоповичу, предпочитавшему великолепию логическую ясность. В этом отношении он действительно оказался ближе Сумарокову, чем Ломоносову. И вместе с тем в «словах» Феофана нередко можно встретить образы, использованные затем и в одах Ломоносова. Нельзя, разумеется говорить о каких-то заимствованиях или прямом влиянии Феофана на Ломоносова. В большинстве случаев дело обстояло, по-видимому, значительно сложнее: творчество Прокоповича служило своеобразным соединительным звеном между поэзией русского классицизма и древнерусской литературой. В качестве примера можно указать на одну из самых распространенных метафор: уподобление князя или царя солнцу.

---

[46] Там же, стр. 134.
[47] См.: И. З. Серман. Поэтический стиль Ломоносова, стр. 121—128.

Несмотря на протесты некоторых авторов, полагавших, что называть солнцем уместно только бога, метафора продолжала существовать в литературе XVII в.,[48] а затем широко использовалась Ломоносовым.[49] До этого, однако, она появилась и у Прокоповича. Уже в «Слове приветственном на пришествие в Киев его царского величества» (1706) Феофан заявил: «Что о солнце Анаксагор философ, то я глаголю о царском зрении» (I, 3). В речи по поводу объявления наследником Петра Петровича (1718) Прокопович вновь использует эту метафору, а затем варьирует ее применительно к Анне Иоанновне. Для Феофана, стремившегося утвердить представление о царской власти как освященной волей самого бога и поэтому независимой от церковной власти, эта метафора приобретала особенно важное значение: по-своему и она служила секуляризации самого жанра проповеди.

Как церковный ритор, Феофан был обязан считаться с традициями жанра и, следуя им, посвящать некоторые «слова» разъяснению цитат из Нового или Ветхого завета. Однако евангельский и библейский тексты приобретали в толковании Феофана злободневный и очень часто совершенно светский характер. Так, эпиграфом к одному из «слов» Прокопович берет цитату из Евангелия: «Яко же преста глаголя, рече к Симону: поступи во глубину», а далее говорит о пользе, полученной отечеством от поездки Петра за границу: «Не у брега мешкает и твой Петр, Россие, но в глубине ищет корыстей твоих; тако устремлен к странствованию, аки бы ему речено было: „поступи в глубину“» (С, 64). На текст «Песни песней» «Крепка яко смерть любы» Прокопович сочиняет «Слово на тезоименитство Екатерины» (1717). К тексту знаменитого 81 псалма Феофан обращается в один из самых трудных для него моментов в пору царствования Екатерины I. Указывая, что в Псалтыри «державные власти бози нарицаются» (т. е. цари называются богами), Прокопович напоминает об обязанностях царя: «Яко бог промышляет о добре всех тварей, тако и царь должен пещися и промышляти о добре всех подданных своих: судити правду, оправдати неповинных, осуждати убийцев, грабителей, клеветников, смиряти мятежников, возбуждати о добре общем не радящих, награждати верных и добрых служителей; кратко рещи: смотрети прилежно, дабы не торжествовали злии, а добрии не воздыхали бы» (II, 180). Феофан обращается к императрице с этими словами, стремясь найти у нее поддержку, оправдаться самому и обвинить своих «клеветников» — в первую очередь

---

[48] См.: В. П. Адрианова-Перетц. Очерки поэтического стиля древней Руси. М.—Л., 1947, стр. 13—26.

[49] См.: И. З. Серман. Поэтический стиль Ломоносова, стр. 103—106.

Георгия Дашкова и Маркела Родышевского, подавшего на него донос, обвиняя в «церковных противностях».[50]

Использование библейского текста для развития идей, волнующих автора в данный момент, — прием, получивший широкое распространение в поэзии русского классицизма. В частности, в переложениях псалмов Ломоносова, как указывали исследователи, тоже находились прямые отклики на реальные обстоятельства, и духовные оды Ломоносова приобретали смелый гражданственный характер.[51] С этой традицией связано и знаменитое стихотворение Державина «Властителям и судиям». Разумеется, обращение Державина к тому же самому 81 псалму едва ли можно ставить в зависимость от упоминавшейся проповеди Прокоповича: один и тот же библейский текст используется писателями совершенно по-разному. Но важно, что сохраняется самый принцип: этот текст трактуется каждым автором применительно к современным общественным событиям.

И духовная ода и ода хвалебная были тесно связаны с ораторской прозой Феофана Прокоповича и идейно, и тематически, и стилистически. Наконец, самая организация речи в одической поэзии, как превосходно показал Ю. Н. Тынянов, позволяет называть оду ораторским жанром.[52] «Ода Ломоносова, — писал исследователь, — может быть названа ораторской не потому и не только потому, что она мыслилась произносимой, но потому главным образом, что ораторский момент стал определяющим, конструктивным для нее».[53] Ломоносов расчленял речь на периоды «круглые», «зыблющиеся» и «отрывные», причем их чередование считал важнейшим моментом в организации поэтической речи: «Положение целых периодов зависит от умеренного смешения долгих с короткими, зыблющихся с отрывными, чтобы переменою своею были приятны и не наскучили бы одинаким течением, которое, как на одной струне почти ни в чем не отменяющийся звон, слуху неприятно».[54] Стремление избежать монотонности придавало поэтической речи бо́льшую выразительность и эмоциональность. Ломоносов мог это наблюдать и на примере русской ораторской прозы. Прокопович, в частности, уже использовал в своей практике некоторые принципы, сформулированные позднее Ломоносовым. Разумеется, автору прозаического «слова» не приходилось соразмерять синтаксическое членение речи с делением на строфы и строки, завершающиеся

---

[50] См.: И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, стр. 195—222.

[51] См.: Д. К. Мотольская. Ломоносов. — В кн.: История русской литературы, т. III. М.—Л., 1941, стр. 339—342.

[52] Ю. Н. Тынянов. Ода как ораторский жанр. — В кн.: Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 48—86.

[53] Там же, стр. 68—69.

[54] М. В Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 243—244.

рифмами. Но и прозаический текст членился по системе, предложенной Ломоносовым. В тексте проповедей Феофана преобладают «круглые» или «умеренные» периоды, в которых, по определению Ломоносова, «члены, также подлежащие и сказуемые величиною не много разнятся».[55] Но, как и в оде, эти периоды служили «нейтральной базой, на которой должен выделиться интонационный рисунок».[56] Рисунок же возникал благодаря введению «зыблющихся» и «отрывных» периодов, а также вопросительных и восклицательных предложений. Вот пример характерной для Прокоповича эмоционально окрашенной речи из «Слова о состоявшемся между империею Российскою и короною Шведскою мире 1721 года»: «Вещ воистинну неслыханная! В одном времени и вооружала и украшала себе Россиа! Когда нужда настала прилежно смотреть, как бы целость отечества сохранить от толь сильных супостатов, было ли время и помыслить строить многотрудныя и многоценныя флоты? Помышлено и сделано. Было ли время созидать крепости, наипаче же превеликий новый град царствующый? И то не оставилося. Было ли время сочинять и писать разныя законы, уставы, регламенты гражданския, и земныя воинския и воинския морския и уставлять соборныя правительства? И то в конец свой произошло. Чудо чудес, что новое в России воинство вдруг и воевать училось и победительне воевало. Что же речем когда еще и мирная дела, строения, учения, исправления с войною толь страшною в одном времени вместитися возмогли!» (С, 119). В приведенном отрывке чередуются в определенной последовательности не только восклицательные, вопросительные и повествовательные предложения, но и разные периоды. Первые восклицательные предложения напоминают «отрывной» строй, выделяющий паузы. В вопросительных предложениях — «кругло-зыблющийся» строй, причем заметен постепенный переход от «круглого» к «зыблющемуся». Связанное с этим интонационное нагнетание подчеркивает множество и разнообразие дел Петра. Повторяемый трижды вопрос «было ли время» распространяется с каждым разом все подробнее: последнее вопросительное предложение явно становится «зыблющимся» периодом. Краткие ответы представляют собой опять-таки «отрывные» периоды, увеличивая пафос и придавая особую значительность сказанному. Наконец, нагнетание разрешается последними двумя фразами, возвращающимися к «кругло-зыблющемуся» строю.

Подобная организация речи в произведении «высокого» жанра вполне соответствовала теории Ломоносова. Но вопрос о произнесении текста решался Ломоносовым и Прокоповичем

---

[55] Там же, стр. 123.
[56] Ю. Н. Тынянов. Ода как ораторский жанр, стр. 54.

по-разному. Ломоносов подробно характеризовал лучшую, с его точки зрения, манеру выступления ритора следующим образом: «Что ж надлежит до положения частей тела, то во время обыкновенного слова, где не изображаются никакие страсти, стоят искусные риторы прямо и почти никаких движений не употребляют, а когда что сильными доводами доказывают и стремительными и нежными фигурами речь свою предлагают, тогда изображают оную купно руками, очами, головою и плечьми. Протяженными кверху обеими руками или одною приносят к богу молитву или клянутся и присягают; отвращенную от себя ладонь протягая, увещевают и отсылают; приложив ладонь к устам, назначают молчание. Протяженною ж рукою указуют; усугубленным оныя тихим движением кверху и книзу показывают важность вещи, раскинув оные на обе стороны, сомневаются или отрицают; в грудь ударяют в печальной речи; кивая перстом, грозят и укоряют. Очи кверху возводят в молитве и восклицании, отвращают при отрицании и презрении, сжимают в иронии и посмеянии, затворяют, представляя печаль и слабость. Поднятием головы и лица кверху знаменуют вещь великолепную или гордость; голову опустивши, показывают печаль и унижение; ею тряхнувши, отрицают. Стиснувши плечи, боязнь, сомнение и отрицание изображают».[57] Из приведенной цитаты совершенно ясно, что Ломоносов уделял большое внимание мимике и жестикуляции ритора. Между тем Феофан Прокопович в свое время выступал против театральной манеры читать проповеди, манеры, характерной для Стефана Яворского. В «Духовном регламенте» Прокопович писал: «Безумно творят проповедницы, которые брови своя поднимают и движение рамен являют гордое, и в слове нечто такое проговаривают, от чего мощно познать, что они сами себе удивляются.. . Ненадобе проповеднику шататься велми, будто в судне веслом гребет; ненадобе руками спляскивать, в боки упиратися, подскакивать, смеятися, да ненадобе и рыдать, но хотя бы и возмутился дух, надобе, елико мощно, унимать слезы. Вся бо сия лищняя и неблагообразна суть, и слышателей возмущают».[58]

Феофан — сторонник большей сдержанности; не отрицая необходимости эмоционального воздействия на слушателей, он высмеивает чрезмерные проявления этой эмоциональности у проповедников католической школы. Внешняя сторона проповеди для Феофана является отражением ее внутреннего содержания. Прокопович не приемлет схоластической риторики и связанных с ней проповеднических приемов; он требует прежде

---

[57] М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 78—79.

[58] Ф. Прокопович. Духовный регламент. — В кн.: П. В. Верховской. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент, т. II, отд. I, стр. 64—65.

всего стройности и логичности изложения. Выдвигая это требование, Прокопович порывал с традициями барокко и подготавливал почву, на которой развивались «высокие» жанры классицизма. Вместе с тем, как мы только что видели, взгляды Прокоповича и Ломоносова на ораторское искусство во многом расходились.

Понять истинный смысл этого расхождения помогает соображение, высказанное Ю. Н. Тыняновым. «Ода, как витийственный жанр, — писал Ю. Н. Тынянов, — слагалась из двух взаимодействующих начал: из начала наибольшего действия в каждое данное мгновение и из начала словесного развития, развертывания. Первое явилось определяющим для стиля оды; второе — для ее лирического сюжета; при этом лирическое сюжетосложение являлось результатом компромисса между последовательным логическим построением (построение «по силлогизму») и ассоциативным ходом сцепляющихся словесных масс».[59] Если для Ломоносова было особенно важно первое начало («наибольшего действия в каждое данное мгновение»), то для Прокоповича — второе («словесное развитие, развертывание»).

Придавая большое значение последовательности в развитии сюжета, Феофан оказался предшественником сторонников так называемой сухой оды. Сумароков, видимо, ощущал эту преемственность, потому и ссылался на авторитет Прокоповича. Феофан как моралист и полемист тоже, по-видимому, был в достаточной степени близок Сумарокову. Существенное различие заключалось, однако, в том, что и поучение и сатира у Прокоповича включались в текст проповеди, приуроченной к какому-либо торжественному событию, в текст панегирика; Сумароков же четко соблюдал иерархию жанров. Переход от похвалы к нравоучению или обличению у Прокоповича обычно сопровождался стилистическими и интонационными изменениями речи. Торжественность и пафос, уместные в одном случае, могли бы оказаться ложными в другом. Избегая излишнего великолепия, Феофан в рассуждениях на морально-философские темы несколько снижает «штиль» проповеди, что отражается и на интонации: начинают заметно преобладать «круглые» периоды и уменьшается количество вопросительных и восклицательных предложений. В качестве примера можно привести отрывок из «Слова похвального в день святыя великомученицы Екатерины». Говоря о двух видах лицемерия, Прокопович разъясняет: «Тонкое нарицаю лицемерие, когда самих себе прельщаем, мнящеся быти боголюбцы, а от любве божией далече отстояще. Се же бывает, егда внешный некий вид святыни имеюще, доволяемся тем, ни мало внутрняго ищуще исправления. Например, по-

[59] Ю. Н. Тынянов. Ода как ораторский жанр, стр. 52—53.

стится некто телесне, а не духовне; молитвы творит многословием, а не духом и умом; велеречит о нестяжании, а сам и крадет; славит милостыню, а сам и ограбляет и сим подобная» (С, 69). Далее Феофан переходит к характеристике другого вида лицемерия, «дебелого»: «Се же есть, егда не сами мнимою нам святынею прельщаемся, но нарочно притворяем ухищренный вид святости в прельщение людей, се же ради легкаго прибытка и приобретения суетной славы. То творим, егда пред людьми воздержницы быти показуемся, опрятаемся от ястия и пития, аще и мернаго, аще и благочестию не противнаго, и помрачаем лица (а есть хитрость на тое), да видими будем пред человеки постящеся, смыжаем очи, умильно осклабляемся, главы прекривленны носим, плачь явити тщимся, хотя не текут слезы» (С, 70). Нетрудно проследить, что этот отрывок существенно отличается по интонации от приводившихся выше выдержек из проповеди Прокоповича. На смену пафосу приходит размеренная речь, имеющая целью не возбудить, а убедить слушателя.

Подобная задача была и у Сумарокова, автора нравоучительных статей, печатавшихся в «Трудолюбивой пчеле» (1759). Выступая в качестве публициста, Сумароков ориентировался на западноевропейские сатирико-нравоучительные периодические издания начала XVIII в. Но в процессе формирования русской журнальной прозы существенное значение имели и отечественные традиции. Сумароков мог уже использовать опыт «Ежемесячных сочинений» и «Примечаний к ведомостям», которые в свою очередь во многом были обязаны прозе Феофана Прокоповича. Первые русские журналисты могли учиться у Феофана постановке актуальных вопросов, связанных с русской общественной жизнью.

Характерно, что Сумароков-прозаик нередко обращается к тем же вопросам, которые затрагивал Феофан Прокопович. Так, статья Сумарокова «Предложение разумным россиянам о принятии нового исчисления времени» соотносится со «Словом на новое 1725 лето» Прокоповича; статья «О суеверии и лицемерии» посвящена теме, к которой Феофан неоднократно обращался в своих проповедях. Любопытные соответствия можно найти в статье Сумарокова «К добру или к худу человек рождается?» и в «Слове в день коронации Анны Иоанновны» (1731) Прокоповича. Феофан рассуждает о многочисленных препятствиях, мешающих людям исполнять заповедь о любви к ближнему: «Как может быти толикая междоусобная любовь тамо, где друг друга проглотити рад бы?». Причиной этого он считает «бесчисленные во всех страсти, которые человеческое сердце поощряют и движут ко озлоблению ближнего» (III, 75). Автор «слова» приходит к печальному выводу: «Окаянный человек ни от чего толиких вредов не приемлет, как от человека» (III, 78). С этим выводом перекликаются суждения Сумарокова: «Во всех сооб-

ществах, как у человеков, так и у других тварей, согласие от собственнаго и участнаго своего прибыточества утвержденно, а не от любви к подобной себе твари. Дружимся и любимся мы ради самих себя. Другого любим, любя себя; ненавидим, ненавидя его. Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому».[60] Представление о злой, эгоистической природе человека, обуреваемого страстями, характерно для обоих авторов, и каждый из них апеллирует к разуму слушателей или читателей, стремится обосновать необходимость «верховной власти», т. е. просвещенного абсолютизма. По стилю статья Сумарокова тоже приближается к проповедническому слогу Прокоповича. Можно отметить, в частности, интересную деталь: Сумароков говорит о человеческих страстях, постоянно используя форму первого лица множественного числа: «дружимся и любимся», «любим», «ненавидим», «наши действия». В свое время Прокопович специально рекомендовал этот прием проповедникам: «Непригоже велми проповеднику, наипаче юному, говорить о грехах властителски или обличителне к лицу слышателей, так например: не имеете страха божия, нет у вас любве ко ближнему, не милосердны есте, друг друга обидите. Но должно паче в первом лице, во множественном числе так говорить: не имеем страха божия, нет у нас любве ко ближнему, немилосерди есмы, друг друга обидим. Ибо сей образ слова кроткий есть, понеже и сам проповедник в числе грешников мешает себе».[61]

Сопоставление проповедей Феофана с сочинениями Сумарокова позволяет расширить наши представления о влиянии Прокоповича на последующее поколение русских писателей.[62] Исследователи неоднократно указывали на роль Феофана в формировании литературного таланта Кантемира. Этот вопрос достаточно хорошо исследован в современной науке, и, не имея возможности останавливаться на нем, напомним вывод, к которому приходит Л. В. Пумпянский: «Как ни развил Кантемир применение метода, но самый метод, норма, речевой принцип усвоены им от русской проповеднической традиции, в особенности от Феофана. Как вся его сатира (особенно ранняя) была своего рода секуляризацией проповедей Феофана, выделением к самостоятельности и развитием сатирико-политических элементов, которые у Феофана были, в сущности, лишь фиктивно связаны с жанром проповеди, так и язык этих сатир представляет блестящее развитие и полную литературную реализацию той нормы, которая у Феофана

---

[60] А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений, ч. X, стр. 149.

[61] Ф. Прокопович. Духовный регламент, стр. 63—64.

[62] Интересный пример непосредственного заимствования сюжета у Прокоповича в басне Сумарокова «Кисельник» указал М. И. Сухомлинов, см.: М. И. Сухомлинов. Заметка о Сумарокове. — ОРЯС, 1855, вып. 4, стр. 206—208.

могла быть осуществлена лишь частично и отдельными прорывами».[63]

К этому бесспорному выводу добавим только еще одно соображение: Кантемир, светский писатель, обратился к жанру сатиры и, развивая некоторые принципы Феофана Прокоповича, приноравливал их к новым литературным требованиям. Если Ломоносов позднее регламентировал «высокие» жанры классицизма, то Кантемир начал с «низких»: при этом каждый писатель по-своему использовал творчество Прокоповича, выбирая именно те элементы, которые были наиболее близки соответствующему жанру. Продолжая литературные поиски Феофана, писатели последующего поколения одновременно полемизировали с ним, строго упорядочивая использованные им приемы. Этот процесс формирования и становления русского классицизма, безусловно прогрессивный в историко-литературном отношении, приводил, однако, и к некоторым потерям. Стремясь к максимальной обобщенности и абстрагированию (напомним о рассмотренных выше различиях в обрисовке образа Петра у Прокоповича и у Ломоносова), писатели классицизма отвергали те черты творчества Прокоповича, которые были по достоинству оценены значительно позднее.

Живое слово Феофана, проникнутое мирскими заботами и интересами, нашло сочувственный отклик не только у его современников и ближайших продолжателей, но и у русских писателей второй половины XVIII в. Показательно, что публицистический талант Прокоповича особенно высоко оценил Н. И. Новиков. В «Опыте исторического словаря о российских писателях» он назвал Феофана «первым из наилучших наших писателей, который многоразличным учением столь себя прославил, что в ученой истории заслужил место между славнейшими писателями». Восхищаясь красноречием Феофана, Новиков подчеркивает его заслуги как «поборника и провозвестника великих трудов и преславных дел Петра Великаго».[64]

Новиков уже не касается вопроса о чистоте слога, который так волновал Ломоносова и Сумарокова, и это факт, заслуживающий внимания. Для писателей, разрабатывавших «высокие» жанры классицизма и выступавших теоретиками этого направления, вопрос о соответствии «штиля» жанру имел первостепенное значение, а «слова» Феофана не укладывались в рамки, предназначенные для «высокого» жанра проповеди или панегирика. Ближайшим преемником проповедника Феофана оказался сатирик Кантемир — обстоятельство довольно парадоксальное с точки

---

[63] Л. В. Пумпянский. Кантемир. — В кн.: История русской литературы, т. III, стр. 191.

[64] Н. И. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 178.

зрения теоретика жанров. Но Кантемир избрал соответствующий жанр — сатиру, получившую законное признание в жанровой системе классицизма. Те сатирические элементы, которые, по мнению Ломоносова и Сумарокова, нарушали целостность проповеди Прокоповича, оказались вполне уместны в «низком» жанре стихотворной сатиры. Но не только эти элементы проявили свою жизнеспособность: как мы видели, «высокие» жанры классицизма (похвальное слово и ода) были связаны с ораторской прозой Прокоповича и идейно, и стилистически. Таким образом, процесс секуляризации жанра проповеди шел в двух основных направлениях: с одной стороны, развитие положительной политической программы, утверждение государственных и нравственных идеалов, с другой — критика, обличение существующих недостатков в общественной и частной жизни. В 1740—1750-е годы эти задачи четко разграничиваются между разными жанрами, по преимуществу стихотворными (ода и сатира). Традиционные прозаические жанры (проповедь, панегирик) оставались «высокими» и подвергались «очищению» за счет изгнания «низких» тем и слов. В связи с появлением и быстрым расцветом русской журналистики развиваются прозаические жанры, которые несколько нарушают строгую иерархию, предусмотренную теоретиками классицизма. Требование чистоты слога оставалось еще в силе, но не имело уже первостепенной роли, поэтому русские журналисты 1770—1780-х годов могли простить Феофану тот грех, который был так значителен в глазах Ломоносова и Сумарокова, и воспользоваться его опытом полемиста и сатирика.

Таким образом, ораторская проза Феофана Прокоповича представляла собой богатый и ценный источник для писателей русского классицизма, обращавшихся к самым разным жанрам, на протяжении нескольких десятилетий она оставалась живым явлением и участвовала в литературной борьбе последующих поколений.